

# *Моя малая Родина*

---

*Андрей Грицман*

## Москва, далее везде

Москва — несгораемый ящик... Далее везде. Жизнь — это ритм. Перестук электропоездов, переключка на станции Москва-Сортировочная. Ритм поезда, уходящего из Москвы, всегда возвращающегося в Москву. Три вокзала, Домниковка, поздно ночью 5 рублей бутылка водки у таксиста из-под сиденья. Рядом с «милягой» за углом на Плешке.

Я родился и вырос на 2-й Мещанской, на углу Садового кольца. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Мещанские. По легенде Пётр бежал от Софьи, наскоро сменив ночную рубашку на верхнюю одежду в ближайшей роще, проскакав со товарищи именно по дороге, которая потом стала 2-й Мещанской улицей, то есть мимо моего будущего дома. Места эти облученные, старинные. Круг моих детских и юношеских прогулок: все Мещанские, Сретенка, сретенские двory, Божедомка, позже стадион «Локомотив» (блаженный футбол на запыленном пустыре!), заледенелый двор Института туберкулеза РСФСР.

Другая московская легенда, а может и не легенда: на Божедомке выставляли трупы найденные за ночь, опившихся, замерших, убиенных, в глухую, в кабаках. Чтобы родственники могли найти и опознать.

Многое в памяти идет от отца, который знал Москву и историю этих мест глубоко. Родился и вырос в районе бандитской Домниковки, Грохольский, Ботанической переулок. Там и я проводил много времени у бабушки и деда в бывшем доходном доме купца Бровкина, Бровкин дом. Дед делал переводы для научного отдела Ботанического сада, диктовал и бабушка печатала на трофейном ундервуде. За забором двора, за голубятней — старый Ботанический сад, все детство у Аптекарского огорода Петра, у дуба Петра, у обветшавшего, мелеющего пруда и трескучей зимой в незабываемой оранжерее Ботанического сада.

Растений чудных перечень течет  
из рукавичной кутанности ранней.  
Тропических цветов зияют раны.  
«Антуриума» ярко-красный рот  
всё тянется к «Аглаонеме нежной».

\* \* \*

Вот перечень цветов. Фонарь и ночь.  
Шагает дед, диктующий с листа.  
Она — у ундервуда с папиросой.  
Мороз, косые тени, полусон.

Снег тянется на свет и липнет.  
В заснеженной, простуженной Москве  
латинский перечень торжественных имён  
и запах эвкалипта.

Родное заколдованное Садовое кольцо, выйти из которого нельзя. Моченый горох, отбитая вобла (молока отдельно), «Московская» под серо-мраморным высоким столиком в пельменной на Зубовской, пиво на плитке в старом эмалированном чайнике в мерзлом окошке у остановки троллейбуса у Склифа на Кольце: морозные клубы февральского воздуха юности, разделенного с отцом.

К чему я все это говорю? Есть душа места. Поэт, художник вырастает в городе. Город — это организм, утроба детства поэта. И эта пуповина навсегда остается, питает фантазии, ностальгию, реальную жизнь художника, которая, конечно же, течет и переливается внутри, в примордиальной памяти, в снах и в полусне.

Не буду повторять многих и сравнивать Питер и Москву, и как они влияют на развитие сознания художника. Есть такие города, облученные историей, где местность сама дышит. И насколько бы ни были разными художники, впитанное с детства просвечивает, прорастает и остается на всю творческую жизнь.

Москвичи узнают друг друга везде. Поверьте, по опыту эмиграции, сразу распознается выговор, несколько самоуверенная манера (а как же — центр вселенной, москвичи, а все остальные — гости столицы!) Помню как в первый мой приезд в Москву из Америки, когда только начали пускать после нескольких лет, в январе 1988 года я остановился на Верхней Первомайской у своей 419-й школы и не мог оторваться — слушал совершенно особый выговор, переключку старшекласниц, московских девочек: акающий, немного мяукающий, непередаваемый, родной говор.

Верно сказал поэт: в кредит, по талону предлагают любимых людей. Теперь даже этого не предлагают. Предлагают разбираться в одиночку, наедине с собой, в своем реквизите. Разбросан он Бог знает где, но, прежде всего, в Москве, где в белокаменной ледяной глубине ее прорастают пшеничные зерна памяти сквозь молоко и воск прошлого.

Есть и другие знаковые города, кроме Питера. Недавно побывал в Вологде, в Нижнем, в Казани, и там это поле места напряжено, гудит вечным зуммером.

Когда я начинал писать данный текст, близкий мне человек предупредил: только не впадай в привычное нытье писателей по поводу потерянной Москвы, потрескавшегося асфальта, пробивающихся лопухов, сменившихся на железо-бетонный, стеклянный имперский новодел. Я и не собирался. Прежде всего потому, что весь гламур и гирляндное и офисное безобразие не искажают внутреннюю структуру города, его душу.

Потому что Москва относится к числу мировых городов с уже созревшей душой.

Как ни странно, прежде всего на ум приходит именно Рим. В 1930 году после Латеранских Соглашений Ватикан стал автономным государством. По этому случаю Муссолини построил широкую и светлую Улицу Примирения, которая идет от берегов Тибра к Собору Святого Петра. Что бы ни творил Иль Дуче в Риме, все это смешалось в органичный исторический конгломерат, в слои истории: древний Рим, средневековый, барокко, фашистский имперский, в тот живой организм, которым являет себя Рим.

Теперь мы и подходим к тому, почему я сразу вжился, полюбил Нью-Йорк и он стал вторым домом. В первый же раз, когда я попал в Манхэттен зимой 1981 года, я почувствовал себя дома. Другие районы Большого Нью-Йорка: Brooklyn, Queens, The Bronx, Staten Island — другие миры со своей историей и душой. Все рецепторы сразу же ощутили разномастную толпу, провалы сабвея. Ты никому не нужен и в то же время — все вместе. Одиночество в большом городе. Город, который никому не

принадлежит и принадлежит лично тебе. «Sounds of silence» (Simon и Garfunkel), «All the lonely people», «Lonely Hearts Club Band» (Sgt. Pepper) — это и есть Нью-Йорк.

Разница с Москвой, конечно, есть. Нью-Йорк — огромный портовый город, широкая река с мощными ветрами в долине Гудзона. Москва — центр восточно-евразийской вселенной, Нью-Йорк — портовый центр мира, перевалочный пункт для многих, город перемещенных лиц, огромный вокзал, где мы поселились, отстояли очередь за кипятком, развернули жаренную курицу на газете и ждем следующего рейса, чтобы вернуться в Москву, а потом обратно домой в городские дебри Сохо, Гринич Вилледж, Верхнего Вест Сайда и Гарлема, холмистого, со сквозными ледяными ветрами от открытой мировой гавани.

Там привычно зажить по закону заморского кода,  
По режиму химчистки и часу последнего трейна.  
Так уйдут в энтропию любви все последние годы.  
Лёгкий троп озвучит мой путь в суете бесполезной.

Возвращаясь домой до конца в долину Гудзона,  
к ар-деко среди скал ледникового века,  
знать, что жизнь, пролетев сквозь ничейную зону,  
оставляет в душе лёгкий тающий слепок.